

А.Г. ЗДРАВОМЫСЛОВ, А.А. ЦУЦИЕВ

ЭТНИЧНОСТЬ И ЭТНИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПАРАДИГМ

В настоящей статье рассматриваются основные теоретические подходы в социологии этничности к исследованию конфликтных ситуаций, возникших с формированием нового постсоветского пространства. Какие концептуальные слабости или, напротив, эвристические возможности этих подходов обнаруживаются при изучении конкретных ситуаций напряженности, подчас перерастающих в так называемые этнополитические конфликты с угрозой силового воздействия или открытым применением насилия? Этот вопрос имеет ключевое методологическое значение для исследования, в частности, таких феноменов, как этническая дискриминация и для регулирования развернувшихся конфликтов.

Этничность

Различия между ведущими парадигмами в этой области связаны, прежде всего, с трактовкой феномена этничности. Что такое этничность (в том числе и в конкретных исторических, политических, социальных условиях)? Какие процессы, факторы вызывают сдвиги в воспроизводстве этничности? Чем обусловлена, в частности, политизация этничности и использование этнических стратегий в межгрупповом соперничестве и насильственных конфликтах? Каким образом происходят переопределения этничности, в том числе и новое деклариование национальных интересов и задач?

Примордиалистские версии, отвечая на вопрос: «Что такое этничность?», указывают на некоторые *пред-данные действующему социальному актору «реалии»*. Этничность определяется (а) группами, к которым принадлежит человек по рождению и которые обладают набором определенных «объективных» характеристик (при этом для человека его этническая принадлежность является «данностью»);

Здравомыслов Андрей Григорьевич — доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института комплексных социальных исследований РАН. Адрес: Москва, Б. Черкизовская, 5–8–37. Телефон: (095) 963–80–12. Электронная почта: azdravom@mtu-net.ru

Цуциев Артур Аркадьевич — кандидат философских наук, старший научный сотрудник Центра социальных исследований Владикавказского института управления. Адрес: Владикавказ, ул. Бородинская, 14. Телефон: (8672) 53–13–30. Электронная почта: zuzart@mail.ru

Статья подготовлена при поддержке РГНФ (грант № 00–03–00388а).

(б) культурными характеристиками, которые оказываются базовыми элементами самой личности. Примордиализм онтологизирует этничность, описывает ее через «объективные характеристики», хотя различные примордиалистские версии значительно расходятся в трактовке их специфики и содержания. Эти характеристики могут быть как биологическими и психологическими («уровень пассионарности»¹, коллективные архетипы²), так и социальными или историческими (местоположение на «цивилизационных платформах» или в «общественно-экономических формациях»).

Нации в примордиалистской трактовке являются самоопределившимися — иногда биосоциальными — *организмами* или же (менее радикальный вариант) просто объективно существующими, исторически определенными общностями, закономерно развивающимися из этнических оснований. В любом случае *нация есть некая объективная сущность, онтологическая единица, обладающая своим жизненным циклом и объективными характеристиками*. Национализм, с этой точки зрения, есть «чувствование или осознание нацией самой себя», а политическими последствиями такого осознания являются идеологии и общественные движения.

Конструктивизм решительно порывает с идеей объективной данности этничности. Этничность рассматривается здесь как результат деятельности социальных акторов. Это *определяемая, обнаруживаемая* субъектом принадлежность к культурной группе (идентичность). Если это солидарность, то *воссоздаваемая*; если социокультурная граница, то *прочерчиваемая*, и т. д. Конструктивизм стремится описать этничность как *осуществляемый* процесс деятельности, состоящий в *интерпретации* (различий), *формировании* (границ), *изобретении* (традиций), *воображении* (сообщностей), *конструировании* (интересов)³ и т. д. Варианты конструктивизма сильно различаются в зависимости от того, кто и как осуществляет процесс конструирова-

¹ См. известную концепцию Л. Гумилева в его работе «Этногенез и биосфера Земли» [1].

² См. работу Э. Ожиганова «Сумерки России» [9].

³ Представляется уместной трактовка инструментализма в качестве одной из возможных форм и примордиализма, и конструктивизма. Этничность для инструментализма определяется заинтересованными социальными или политическими акторами в конкретном историческом или ситуативном контексте. Этничность есть репертуарная роль, произвольно обыгрываемая социальным агентом. В зависимости от того, как эта роль трактуется, инструментализм может быть как примордиалистским (роль пред-дана, и лишь ее ситуативное использование доступно социальному актору), так и конструктивистским (роль формируется в процессе самой игры).

ния в его различных вариантах (государство, иная власть (например, протестное движение), политические элиты, интеллектуалы-идеологи, институции, «человек с улицы») и каков контекст этого конструирования.

Очевидно, что различия примордиализма и конструктивизма восходят к различиям основных социологических традиций, одна из которых описывает «реальность», структуру, а другая занимается деятельностью, субъектным производством структур, отношений в группах и т. д.⁴ Отсюда можно предположить, что концептуальные стратегии, стремящиеся к преодолению оппозиции *социальной структуры* и *социального действия*, будут, по сути дела, аналогичны попыткам преодолеть оппозицию между онтологизирующим социальный мир примордиализмом и фокусирующимся на субъектном, почти феноменологическом продуцировании этого мира конструктивизмом.

Наиболее упоминаемыми среди концептуальных оснований таких синтезирующих устремлений являются, пожалуй, понятия габитуса и социального поля П. Бурдьё. Интерес этносоциологов к габитусу как определенной кристаллизации социальных условий и практик социальных агентов вполне симптоматичен. Концепт габитуса подобен некому фокусу, где сходятся траектории дрейфа различных теоретических перспектив в социологии этничности и национализма.

Никакая примордиалистская концепция не может рассчитывать на эвристическую мощь, игнорируя необходимость проследить, каким же образом «изначальное» обнаруживается/тематизируется в практиках социальных агентов, в их стратегиях поведения. И в равной мере никакой конструктивизм не рискует описывать стратегии конструирования без «фазовых аналитических отходов» к условиям и обстоятельствам конструирования.

Одним из конструктивистских тезисов является определение «нации как основного оператора всеохватывающей системы социальной классификации» [8, с. 297]. Во всех конкретных исторических формах этот оператор выступал как «сортирующий механизм», или система отбора (*sorting device*). Причем «системы социальной классификации, будучи институционализированы, закладывают основы для власти и легитимности с помощью задаваемых ими категорий, которым придается одновременно естественный и социально реальный характер» [8]. Оператор «нация» используется при установлении *референции*, связи между человеком и сообществом, границы которого определены или гражданством (политическая нация), или этничностью (этническая нация). Это — соперничающие значения нации, но

⁴ См. хорошую отечественную презентацию примордиалистского подхода в [9].

соперничество осуществляется отнюдь не только в рамках теоретических парадигм, но в самой реальности — между различными социальными агентами и группами.

Третий подход к определению этничности связан со стремлением выделить ее функциональные особенности. Что «делает» этничность с людьми? Какие функции выполняет по отношению к социальному целому, обществу, социуму?

Данный вопрос звучит особенно актуально применительно к российскому обществу, в котором обнаружилась явная тенденция к этнизации. С одной стороны, это проявилось в постсоветских идеологиях возрождения национальных культур и защиты национальных интересов; с другой — в возникновении определенной напряженности бытия, основанного на стремлении понять или подвести под некоторые рубрики тот массив новых и непривычных контактов, с которым сталкивается постсоветский обыватель в своей повседневности. Итак, функции этничности заключаются в следующем.

Прежде всего, этничность обеспечивает внутреннюю связь некоторой общности, «солидаризует» ее на основе группового членства. Это свойство общности зиждется на совокупности мифов, воспринимаемых как основание «священного» для данной социальной группы. Сама этничность «родом из прошлого». Она может быть конфронтационна, порождать нетерпимость. Ее ценностная структура неизбежно предполагает двойственность стандартов: поскольку «мы» — это «не они», постольку чужие, даже если они и не враги, не подпадают под действие принятых в данной группе позитивных санкций. Наконец, этническое самосознание эмоционально насыщено, и поэтому оно оказывается значимым мотивационным компонентом [11, с. 35–37]. Функциональный подход в своем теоретическом осмыслении этничности позволяет игнорировать крайности примордиализма и конструктивизма. Он как бы заявляет: неважно, откуда возникает этничность, каковы ее исторические корни, важно, что этот феномен социального бытия и социального сознания может играть различные роли в разных конкретно-исторических и житейских обстоятельствах.

Таким образом, функциональный подход открывает перспективы для **релятивистской теории нации** [2, с. 9–25; 4, с. 238–250], возникновение которой — реакция на ограниченность примордиализма и конструктивизма в их российских версиях. В России примордиалистскими являются такие альтернативные друг другу концепции, как теория этногенеза Л.Н. Гумилева и теория этноса Ю.В. Бромлея; конструктивизм представлен в работах В.А. Тишкова. Российский конструктивизм стремится наращивать с помощью своих интерпретаций вероятностный ресурс тех этнических процессов, которые он полагает благотворными для страны (другими словами, «теория вовлечена в

творческое символическое действие»). Он сопряжен с активным участием в позитивном конструировании исследуемой реальности. Отсюда ясно, что конструктивизм в определенном смысле предстает как теория нациестроительства — то есть как определенная идеология.

Релятивистская теория нации, безусловно, ближе конструктивистской концепции, и потому в ней широко развернута критика последней. Ключевым тезисом является положение о сопряженном, *связанном характере* социального конструирования этнических и национальных общностей различными социальными агентами. Этничность, «этнические картины мира» (то есть некая когнитивная этническая «топография»), наполняющие их стереотипы, — это продукты и одновременно инструменты интерпретативной активности. Поэтому такая активность несвободна от уже наличествующего набора «интерпретирующих инструментов», сложившегося репертуара «исторически значимых событий» и потенциально важных политических сюжетов. Конструирование этничности, таким образом, является контекстуальным процессом, который осуществляется с помощью относительно устойчивых схем, используемых как рефлексивно (избирательно, рационально, манифестно), так и нереплексивно, некритически — как привычка или габитус (неопределенная, несконструированная, неотрефлексированная этничность).

Для релятивистской теории важно, *кто* именно конструирует и в каком повседневном или чрезвычайном *контексте* это происходит. Эта теория, в частности, позволяет преодолеть известное пренебрежение конструктивистов к массовому сознанию, обывателю, повседневным интерпретативным стратегиям людей, которые вовсе не являются пассивными марионетками в политической игре элит или более «профессиональных» социальных конструкторов.

Этничность (а вслед за ней и нация) понимается здесь как оператор производства и различения культурных явлений, составляющих важнейший компонент взаимодействия групп. Этот оператор позволяет человеку упорядочивать многообразие культурных явлений для того, чтобы формулировать стратегии адекватного и ожидаемого поведения в различных ситуациях, которые коррелируют с типологией групп, находящихся в пределах устойчивого коммуникативного поля.

Конструирование этничности в рамках релятивистской теории рассматривается как многоуровневый, многосубъектный процесс, не сводимый к манипулированию общностями и индивидами через «создание традиций» или элитарную политическую мобилизацию. Существует широкий круг стратегий оперирования этничностью. В релятивистской теории нации акцентируется следующий момент: *этническая идентичность* воспроизводится через устойчивые паттерны, скажем, через рутинные соотнесения «себя»/«нас» с набором ключевых контрагентов, находящихся в исторически и социально значимом

коммуникативном поле. Субъектом такого привычного соотнесения, отличающего «нас» от «них» и наполняющего это различие конкретным содержанием, является и «человек с улицы», «обыватель», который оказывается отнюдь не пассивным реципиентом национальных идеологий или транслятором институциональных определений.

Этническая идентичность неотделима от формирования представлений об этнических общностях — как своей собственной, так и сопряженных с ней. Сознание «мы» не может возникнуть в гомогенном пространстве, оно возникает лишь в контексте практического соприкосновения с «другой» группой, которая полагает себя-для-себя также в качестве «мы». Данная пара «мы» и «другие» не является единичной; она окружена множеством «других», которые образуют общее коммуникативное пространство этнических солидарностей и размежеваний, пространство коллективной рефлексии и идентификации. Усложнение образов «мы» и «другие» осуществляется путем духовной обработки сюжетов, связанных с практическим взаимодействием ключевых контрагентов. По мере внутренней дифференциации каждого из них возникает достаточно многогранная структура этнического самосознания, в которую включены как образы своей этнической группы или нации, так и образы других. «Мы» — это не «они» — исходный постулат этого самосознания: самоидентификация осуществляется на основе негативного определения себя. Такое первичное самоопределение впоследствии наполняется позитивным содержанием с помощью селективных интерпретаций идеологами (в широком смысле) практически-исторических превратностей «совместной судьбы» этой группы с другими конкретными сообществами.

Итак, нации самоопределяются в соотнесении с *ограниченным кругом «других наций, составляющих базовую референтную группу для данного национального самосознания»*. Поэтому этническое/национальное самосознание, процесс порождения *данной, особенной* этничности или национальности может быть описан как более-менее устойчивый репертуар интерпретативных стратегий, как некая последовательность определений «нас» в контексте значимого присутствия «других». Но не любых «других». Скажем, исследование русских определений корейцев ничего не даст для понимания специфики русской идентичности в Северо-Кавказском регионе или в Москве. Исследование русских определений чеченцев даст значительно больше для понимания современного русского самосознания. (Кстати, по итогам опроса, проведенного РНИСиНП в 2000 г. — после начала второго этапа военных действий, — 14% населения РФ высказывали положительное отношение к чеченцам.) Для понимания, что значит быть русским, необходимо вычленив те ключевые исторические сюжеты, символические ситуации основных контрагентов, в контексте взаимодействия с которыми русское сознание определяет

самое себя. Следует выявить, как различаются «референтные» группы (нации, этнические общности) для различных пластов русской общественной жизни и действующих здесь социальных акторов.

Особое внимание нужно уделить соотношению самоопределений и определений данного этноса другими. Разумеется, они не совпадают. Но несовпадающими могут быть и самоопределения, поскольку каждое из них вбирает опыт, связанный с конкретным комплексом переживаний своей этничности. Приведем здесь одно из самоопределений русскости, предлагаемое известным финским исследователем. «Да, я — русский. Сейчас я понимаю, хотя и смутно, что это означает. Это означает, что я несу в своей душе всех этих людей, охваченных печалью, эти сожженные деревни, эти озера, наполненные обнаженными мертвецами. Это значит быть в человеческом стаде, покорно взирающем на то, как его избивает тиран. Это — чувство ужаса оттого, что соучаствуешь в преступлении. Это — острое желание снова оказаться в центре этих историй из прошлого, хотя бы только для того, чтобы стереть в них следы страдания, несправедливости, смерти. Да, хочется поймать черную машину на улицах Москвы и раздавить ее огромной ладонью. Затем с замиранием сердца смотреть на молодую женщину, открывшую дверь подъезда, поднимающуюся по лестнице... Переделать историю. Очистить этот мир. Добить зло. Дать этим людям приют в своем сердце, чтобы однажды открыть для них дверь в мир, освобожденный от зла. А пока делить с ними давящую их печаль. Презирать себя за любую ошибку. Довести свою преданность до точки бреда, до потери сознания. Жить очень просто на краю пропасти. Да, это — Россия»⁵. Совокупность образов и эмоций, используемых в данном опыте самоидентификации, основана на переживаниях войны, сталинского террора, идее русской жертвенности с большой примесью мессианства как некоего символа надежды, которая компенсирует непомерность испытываемого страдания. Здесь «других» как бы нет; на самом деле они отодвинуты в подсознание, но присутствуют как предпосылка «нормального» бытия.

Высказанное определение вряд ли может служить в качестве базового, объединяющего. Скорее следует констатировать его субъективность, маргинальность. Это еще раз подчеркивает относительность самоопределений национального бытия. Исследования национального самосознания и национально-этнической идентификации, проведенные нами, показывают весьма широкий диапазон смыслов, который вкладывается в такое, казалось бы, общепризнанное и общезначимое суждение, как «я — русский» или «я — немец», «я —

⁵ Makine A. Le testament français. Suffolk, 1997. P. 164. [цит. по 5, с. 240–241].

француз и т. д. Вся совокупность индивидов, сознательно применяющих это суждение к самим себе, может быть подразделена на несколько категорий. Для одних — это сильнейшее чувство, вытесняющее иные социальные идентификации и порождающее гордое и уверенное ощущение причастности в той или иной форме к национальному сообществу. Для других — суждение, сопряженное с чувством стыда не столько за нацию, сколько за страну, потерявшую статус великой державы. Для третьих — весьма причудливое и неоднозначное переплетение стыда и гордости за национальное достояние. Есть и четвертая категория людей, которая избегает фиксации внимания на национальной принадлежности. Поскольку эта идентификация не избирается самим человеком, нет смысла ни гордиться, ни стыдиться своей национальности: «герои» и «злодеи» имеются в каждой этнической группе, и конкретный человек заслуживает уважения независимо от своего этнического происхождения⁶.

Из сказанного ясно, что реальное определение нации в самосознании в гораздо большей мере оказывается ситуативным даже при сравнении с такой общностью, как социальный класс. Ведь каждому изначально известна его собственная национальная принадлежность, вопрос состоит в том, нужно ли вербализировать это знание, в какой связи, в каком контексте. В приведенной выше тираде можно усмотреть контекст исповеди, поиска самоидентификации человека, переживающего трудную ситуацию, стремящегося облегчить ее с помощью генерализации — отождествления своей ситуации с ситуацией «русских» вообще.

Чтобы проиллюстрировать, как именно определяется национальность не на уровне индивидуального самосознания, а в процессе исследовательской деятельности или при составлении обычных статистических таблиц, которые вводятся в научный оборот в виде своего рода незыблемых фактов, обратимся к примеру, в котором используется как бы привычное определение «нации» (табл. 1 представлена в одном из научных докладов по ситуации в Краснодарском крае [7, с. 18–22]).

Понятно, что таблица сделана, чтобы показать вес «армянской преступности» в конкретном регионе. Имея дело с такой информацией, социолог обязан выяснить социальный контекст, который определяет формулировку самой задачи — сопоставления этнических параметров преступности: необходимо понять, как конструируется таблица, какие категории используются, почему игнорируются, скажем, социальная структура преступности, доля мигрантов в представленных этнических категориях и т. д.

⁶ См. об этом подробнее: [3, с. 34–57].

Таблица 1

Этнические компоненты в составе населения и в преступности (1994 г.), % по столбцу

Этнос	Доля этноса в массе нерусского населения [Краснодарского] края	Доля этноса в массе «нерусской» преступности
Украинцы	26,0	22,0
Адыгейцы	15,0	6,5
Азербайджанцы	1,5	4,5
Армяне	24,0	52,0

Одним из продуктивных направлений, обогащающих сегодня конструктивистскую парадигму и способствующих преодолению ее «социальной необоснованности», является институционализм. В исследованиях постсоветского пространства он реализуется, в частности, Р. Брубейкером, который рассматривает роль «институциональных определений нации, национальной принадлежности» [15]. Автор обращается к тому самому социальному контексту, который конституирует поля напряжений для социального действия — в том числе и такого поля, как этнические/национальные идентификации. Для Р. Брубейкера институциональные определения представляют собой не только контекст социального действия, но один из его устойчивых и конституирующих социально-политическую реальность паттернов. Р. Брубейкер является представителем «нового институционализма» в социологии. «Любой институционализм в социальных науках — старый и новый — противостоит деконтекстуализированному, атомистическому пониманию [социального] действия; все согласны с тем, что необходимо исследовать, каким образом “социальный выбор оформляется, опосредуется и канализируется институциональными установлениями”. Однако новый институционализм в социологии идет дальше — он сдвигает исследовательское внимание с институциональных контекстов и напряжений, в которых разворачивается социальное действие, опирающееся на интерес, на изучение *институционального конституирования* — как социальных интересов, так и самих деятелей» [15, р. 48].

Р. Брубейкер рассматривает роль тех институциональных действий, которые конституируют определенную конфигурацию советской и постсоветской этнической/национальной «реальности». К их числу относятся, прежде всего, территориализация этничности и официальная регистрация этнической/национальной принадлежности граждан⁷.

⁷ Отличительной чертой советского наследия Р. Брубейкер считает «официальную, объективированную кодификацию этнического многообразия как национального многообразия» [15, р. 50].

«Эти институты составляют устойчивую систему социальной классификации, некий организующий “принцип усмотрения и учреждения различий” в социальном мире (П. Бурдьё), определенную стандартизированную схему социального восприятия, интерпретативную сетку для общественных дискуссий, набор маркеров для проведения границ, легитимную форму для публичных и частных идентификаций. И стоило политическому пространству расширяться при Горбачеве, как обнаружился уже готовый шаблон для призывов к суверенитету. Институциональные определения национальности не столько напрягли социальное действие, сколько конституировали базовые категории политического сознания, ключевые параметры политической риторики, специфические типы политического интереса и фундаментальные формы политической идентичности» [15, p. 48].

Свой аналитический подход к национальным проблемам Р. Брубейкер называет «интерактивным», «последовательно и радикально релятивистским» (точнее, — реляционным, relational), рассматривая, в частности, взаимодействие между такими «соотносящимися полями» (relational fields), как:

(1) «*национальное/этническое меньшинство*» — воспринимающее себя (в результате игры внутренних и внешних акторов на данном поле) в качестве представителей этнокультурной нации, отличной от той, которая численно и политически доминирует в государстве проживания;

(2) «*национализирующееся государство*» (то есть государство, в котором численно и/или политически доминирующая этнокультурная нация — в ведущих интерпретативных стратегиях соответствующих политических и прочих акторов — полагает данное «государство» в качестве *своего* национального достояния (would-be nation-state);

(3) внешнее отечество (external national homeland) — «свое» для меньшинства, проживающего в пределах границ «чужого» государства. Например, Россия для русских, проживающих на Украине, или Украина для украинцев, проживающих в России.

Центральным аспектом взаимодействия соотносящихся полей в этом треугольнике является «*взаимный сопряженный мониторинг*»: акторы в каждом из полей постоянно и тщательно прослеживают изменения и действия в каждом из двух других полей. Постоянное взаимное прослеживание не должно восприниматься как некая пассивная регистрация происходящего в других полях. Напротив, мониторинг включает избирательное внимание, интерпретацию и репрезентацию, *то есть определенные способы конструирования самих себя!* Зачастую интерпретации происходящего в других полях оспариваются внутри этих полей — оказываются объектами борьбы между акторами данного поля за презентацию его как целого [15, p. 118].

Можно сказать, что по модели Р. Брубейкера развитие ситуации осуществляется как *постоянно обновляющийся результат* многосторонней, многоуровневой игры, в которую вовлечены различные по своим стратегиям и ресурсам игроки. Для корректного описания ситуации и возможных траекторий ее развития необходимо выяснить, какие игроки присутствуют в игре, какие стратегии они применяют и чем эти стратегии обусловлены. «Обусловленность стратегий» не есть жесткая зависимость интерпретации/действия от социальной структуры или «объективных реалий», но вынужденность деятеля в своих стратегиях интерпретировать и реконструировать *определенное предьявленное*. Вынужденность деятеля состоит в том, что он не свободен в выборе «повестки дня» для своей интерпретативной активности. Набор потенциальных сюжетов для того, чтобы изобрести, например, эффективные традиции, обычно ограничен. Фобии, как и образы врага, также конструируются, но для того чтобы эти конструкции социально состоялись — то есть были «общественно звучными» — они должны быть встроены в жизненный мир обыденных «реципиентов». Эти контексты позволяют говорить о вероятностном потенциале политического (сверху вниз) конструирования.

Нужно сказать, что, вычленив институциональную матрицу социальных действий, данный подход оставляет без внимания ряд других обстоятельств, без которых нельзя понять, почему институциональная инженерия национальностей имеет региональную специфику. Представляется, что «призывы к суверенитету» отличались «стилями» в Прибалтике и Средней Азии, в Чувашии и Башкирии, в Адыгее и Осетии и т. д. А в некоторых национальных регионах таких призывов не было вовсе. Институционализм описывает только схематику процесса, некую почти контурную карту, по пунктирным линиям которой осуществляется логика воспроизводства этнополитической реальности. Такой подход дает представление о «порядке» этой реальности и траекториях эволюции этого порядка. Советское наследие институциональных дефиниций национальности — это тот самый габитус, который структурирует базовые интерпретативные стратегии в нашей актуальной, живой этнополитической реальности. Но это *общеэтническое наследие* работает все же в конstellляции с различным набором других переменных. Вновь для того, чтобы показать, как определяется этничность, нам оказывается недостаточно описаний лишь институциональных ее форм. Два ряда явлений «прилегают» к институциональным дефинициям, к доминирующему *«габитусу национальности»* бывших советских граждан. Эти ряды переменных вовлекаются в некие конstellляции порождающих стратегий — регионально отличных, исторически, культурно и ситуативно конкретных.

Первый ряд переменных имеет более объективный характер. Это — состав населения, фаза демографического перехода, степень дифференциации социальной структуры, исторические мифы, сложившиеся вне регулятивного, упорядочивающего влияния институциональных дефиниций. Сюда можно отнести и наличие языковых границ, которые доступны операционализации (фактически — определению) и без помощи субъективных интерпретаций.

Второй ряд переменных имеет более субъективный характер — это обыденные стратегии, рутинные определения национальности/этничности, которые конструируются не столько матрицей институциональных дефиниций, сложившейся в советское время, сколько повседневным миром. По логике П. Бурдьё, нужно исследовать локальный габитус — повседневный мир людей в конкретном регионе и конкретном историческом и социальном времени.

Отметим, что изучение национальной проблематики не может игнорировать эти ряды переменных. При необходимости описать вероятностный характер и причины различий в развертывании этнонациональных ситуаций или конфликтов исследователи обращаются к таким объективным реалиям, как, скажем, «интенсивность соперничества за рабочие места» или «демографические или гендерные характеристики» [13, р. 208]. Для различения примордиализма и конструктивизма важно то, каким образом определяется взаимодействие «объективных» демографических параметров, с одной стороны, и политических и социальных стратегий, которые разворачиваются на фоне этих реалий, — с другой.

Примордиализм толкует групповые границы, социальные категории, этнодемографический баланс и т. д. как жесткую реальность, однозначно обуславливающую те или иные стратегии-реакции социальных акторов. Скажем, высокая иммиграция «других» детерминирует рост ксенофобии. Исходя из этой, в общем верной, примордиалистской констатации конструктивизм делает следующий шаг, обращая внимание на такие важные «детали»:

- Как определяются границы между «нами» и «другими»?

- Как эти определения структурированы институциональной практикой или идеологиями? (Что такое, скажем, «нерусская преступность»? Как квалифицируется банда с армянином во главе, евреем в качестве казначея и исключительно русскими боевиками?)

- Как тематизируется проблема иммиграции и иммигрантов в общественном сознании средствами массовой информации?

Показательно, как конструктивизм определяет границы между группами и сами этнические или социальные группы. В статье о национальных меньшинствах в «национализирующихся государствах» Р. Брубейкер использует понятие *поля*, введенное П. Бурдьё: «Мы воспринимаем национальное меньшинство не как определенную

сущность (fixed entity) или внутренне нерасчлененную единицу (unitary group), но скорее в категориях *поля дифференцированных и соперничающих позиций*, принятых различными организациями, партиями, движениями или отдельными политическими предпринимателями, каждый из которых стремится к тому, чтобы “представлять” меньшинство перед лицом его собственных членов, перед принявшим государством или внешним миром, причем все делают это, претендуя на монополию легитимного представительства» [14, p. 113].

Современные вариации примордиализма связаны с гипертрофией детерминационных, повторяющихся социальных процессов и их концептуальным предъявлением действующему социальному агенту в качестве «объективных», с которыми этот агент должен смириться. Современный примордиализм отходит, конечно, от примитивного повествования о врожденных, извечно существующих внеисторических силах, которые лишь манифестируют себя в предсказуемой зоне своих социальных марионеток — групп, масс, людей, политиков, элит. Он лишь полагает, что «социальное движение», например, политизация этничности и вызревание протонаций, будет иметь весьма определенный характер — потому-то и потому. Очевидно, что современный примордиализм интегрирует и субъективные, интерпретативные элементы, конституирующие изучаемую реальность.

Тем не менее, исследуя социальные конструкции, можно обнаружить различную степень их состоявшейся объективации, онтологической кристаллизации именно в отношении актуально действующих социальных акторов. Скажем, некий конкретный этнодемографический баланс может быть результатом организованной этнической чистки. Однако для ребенка, который родился и вырос в контексте этих «искусно сбалансированных» реалий и сопровождающих их фобий, последние выступают как «объективные социальные факты». В этом смысле человек с улицы, простой обыватель является *прирожденным примордиалистом* — потому что он застаёт реальность в ее уже готовой форме, а себя самого — в роли маленького существа, подавленного отчужденным коллективным сознанием. Но и политик часто застаёт ситуацию с уже традиционно обозначенными, исторически устоявшимися групповыми границами и конкретным численным соотношением «этнических организмов». Даже исследователь находит свой объект изучения — социального актора, интерпретирующего социальную реальность — так, как если бы она была «объективной», онтологической — социальной, психологической или даже биологической.

Игнорирование обстоятельств, напрягающих социальное действие, приводит к тому, что само описание возможных вариантов действий (интерпретаций, стратегий) оказывается подвешенным, социально необоснованным даже при условии, когда эти действия фиксированы институционально. Скажем, институциональные дефиниции

национальности (nationhood) в советской истории могут способствовать тому, что у детей от смешанных браков (титульно-нетитульных) преобладающим выбором оказывается именно титульная национальная идентификация как более престижная, выгодная. Описание веера возможных стратегий может быть ошибочным, если не исследованы:

(а) сложившийся локальный, специфический паттерн идентификаций, что *значит* этническая идентификация для самих социальных акторов в контексте их собственных обстоятельств (традиций, доминирующих культур или групп) и

(б) политическая и социальная конъюнктура (значительно более подвижная, чем сетка институциональных определений), на основе которой люди выбирают свою этническую идентификацию.

Примордиализм стремится *объяснить* некий устойчивый и доминирующий вектор изменений, называемый «объективной закономерностью», вероятной регулярной связью. В России весьма вероятным является дальнейшее вызревание этнокультурных общностей в титульных республиках (обладающих определенным набором функционально-примордиальных характеристик) в этнополитические, протонациональные образования. Такая тенденция может привести к трансформации РФ в сильное централизованное государство с поясом территорий, население которых будет нетождественно в своих гражданских правах собственно российскому.

С другой стороны, конструктивистские работы стремятся преодолеть угрозу феноменологической или психологической редукции социальных стратегий — стратегий оперирования этничностью, очерчивания границ, конструирования солидарностей и т. д. Усиливающееся внимание конструктивистских работ к социальному контексту, сложившейся практике этничности обусловлено критикой их социальной необоснованности.

Тем не менее ключевая оппозиция между этими двумя теоретическими перспективами — в «обновленном виде» — все же отчетливо сохраняется. Но она начинает носить скорее инструментально-прикладной, технический характер. Концептуальный смысл оппозиции сохраняется в процедурах презентации теоретических парадигм внеаучному социальному актору — политику, обывателю. Примордиализм отождествляет проективные, живые стратегии с «закономерными» и наиболее вероятностными векторами разворачивания реальности, а значит, привязывает их к якобы «более успешным стратегиям». Но риск здесь велик — выдать вероятное за неизбежное. Функциональный примордиализм неоднократно обманывался — и в предсказаниях того, что модернизация приведет к ослаблению этнических солидарностей, и потом, когда стало более принятым утверждать, что модернизация ведет к их возрождению. Примордиализм эффективно

объясняет то, что уже случилось. Инновационный элемент, способный к радикальной бифуркации событий, всегда кроется в живых, только еще разворачивающихся интерпретативных процессах.

Изучение интерпретативных процессов по-прежнему отличает конструктивистский подход. В нынешней ситуации он, безусловно, стремится стать социально обоснованным: рефреном звучит призыв исследовать социальный контекст, наличные культурные дистанции, институциональные определения, социальные факторы, габитус (олицетворяющий произвольный характер интерпретативных стратегий), наконец, этнический код, в котором содержательно клиширована идентификационная стратегия представителей различных этнических категорий и групп (см., например, [6]). Конструктивизм не объясняет, но типизирует, демонстрируя веер возможных стратегий, практикуемых социальными акторами, и оставляя им большую меру свободы, чем примордиалистские объяснения.

Образ русскости кристаллизуется и определяется в соотношении со значимыми историческими контрагентами. Причем содержание этого образа прямо зависит от качеств последних. И непрагматизм («духовность»), и свернутая временная ориентация, и отношение к властной иерархии и государственности — все эти переменные определяются через соотношение с ключевыми национальными визави.

В целом, парадигматические соотношения (рождающие русскость как модель-парадигму) формируются на макроуровне, на уровне общенациональном. Но есть региональные, исторически фазовые контрагенты, также выступающие в качестве значимых «других», в соотношении с которыми русскость может обретать несколько иной качественный ряд, иную фактуру. Отсюда вытекает следующее:

1. Существует возможность подмены действительно используемых стратегий конструирования этничности/национальной солидарности набором стратегий, якобы неизбежных по самой конструктивистской концепции. Необходимо описание практикуемых стратегий, не связанных с чрезвычайными обстоятельствами и осуществляемых вне пределов досягаемости политических манипуляторов.

Релятивистская теория стремится быть социально и исторически фундированным конструктивизмом, не занимаясь только критикой этнонационализма как одной из стратегий. Кажется очевидным, что этнонационализм как социальный и политический проект также является «творческим символическим действием» — только не столь позитивным, сколь стратегии надстраивания гражданской солидарности над этническими границами. Но какая из стратегий будет более успешной? Здесь возникает вопрос о прогностическом потенциале конструктивизма. Мощная, утверждающая гражданские ценности конструктивистская критика этнонационализма тем не менее не может заменить вероятностного описания того, каким ресурсом дальнейшего

развертывания обладают альтернативные — опасные для единства страны — стратегии конструирования солидарностей. Среди власть предержащих она не особенно действенна и еще менее существенна для массива тех обыденных стратегий, которые разворачиваются в повседневном жизненном мире «человека с улицы», будь то владелец торговой точки, солдат, а тем более офицер, служивший в Чечне или в иных горячих точках.

2. Репертуар этих стратегий варьируется — исторически, ситуативно, регионально. Русская этничность у казаков Дона реконструировалась иначе, чем у терских казаков Шелковского и Наурского районов Чечни⁸. У них иной коммуникативный контекст, иной набор «значимых других». Точнее, эти «другие» присутствуют иным образом. Но представления региональной специфики и ключевых элементов в сконструированной этничности не будут точными, если содержательно не описаны сами используемые людьми стратегии и если они заменяются явно концептуальными версиями.

Этнически сопряженное насилие

Различия теоретических подходов к пониманию этничности влекут за собой и различия в трактовке ими «природы этнических конфликтов», в частности, насильственных конфликтов с выраженной этнической составляющей.

Примордиализм исходит из неизбежности насилия как определенной формы взаимодействия «этносов» — объективно существующих общностей, обладающих коллективным сознанием, ментальностью, жизненным циклом и, соответственно, противоборствующими интересами и коллективными стратегиями. Поскольку этничность в примордиалистской трактовке рассматривается в качестве сущностного признака человека, а не средства категоризации, конструирования или упорядочения культурных различий, постольку насилие оказывается неустранимым, «объективным» атрибутом коллективного соперничества. С другой стороны, радикальный конструктивизм обнаруживает насилие чаще всего лишь в качестве элитарных стратегий. Здесь социальный мир и его «обыденные» конструкторы лишаются какой-либо автономии: они — чистые реципиенты тех моделей взаимодействия и мировосприятия, которые вносятся извне усилиями институциональных агентов. В крайней форме утверждается, что социальные науки создают язык и соответствующий дискриминационный

⁸ В.А. Тишков справедливо отмечает, что «культурные дистанции между различными географическими группами русских (например, теми, кто живет в Поморье, и теми, кто живет на Северном Кавказе) могут быть значительно меньше, чем между русскими и теми местными группами, с кем они контактируют столетиями» [12].

дискурс, усваиваемый затем властными институтами и структурами, которые, в свою очередь, реконструируют социальный мир по соответствующим «шаблонам» и логике.

Нам представляется, что существует пласт спонтанной, неформальной повседневно практикуемой избирательности — тех привычных паттернов в межличностных контактах, которые «организованы» и «сконструированы» вне решающего или неизменного влияния институциональных агентов. Эти дискриминационные практики лишь отчасти коррелируют с развернутостью националистических идеологий, или «политикой». Иными словами, обыватель не ждет эссенциалистского (примордиалистского) эксперта или опирающегося на его оценки политика для того, чтобы сформировать свои собственные взгляды. Он даже не ждет очередных медиа-новостей, чтобы снова убедиться в своих фобиях. Полагать, что социальные науки «создают» предпосылки для дискриминационных практик — значит игнорировать то обстоятельство, что эти практики уже некоторым образом развернуты и политик в соответствующих дискриминационных решениях опирается не на академический примордиализм, а на «примордиализм» обывателя.

Скажем, проведенные исследования, и не только они, показывают наличие определенных образчиков неинституциональной дискриминации русского населения в Северо-Кавказских республиках, равно как и кавказцев в Москве и других регионах страны. Но при попытке вычленить ответственное за подобную дискриминацию «агентство» можно обнаружить, что это — сама общность, «культура», «менталитет», «цивилизационный разлом» и т. д. и т. п. Если не исследовать в деталях реальные габитусы и обыденные дискриминационные практики, то этот пласт отношений полностью остается в ведении различного рода специалистов по «пассионарности и комплементарности», по «культурам стыда и культурам вины», «традиционным менталитетам» и т. д.

Важно уделять больше внимания изучению обыденных, неформальных, неорганизованных дискриминационных практик, их генезиса, разворачивания и т. д. В северокавказских республиках существует общий дискриминационный фон, связанный с обыденными идеологиями о «национальных территориях». Но эти идеологии не являются исключительно результатом институциональных усилий советского государства: территориализация этничности в регионе происходила задолго до учреждения советских автономий и паспортов с пятой графой. Местные русские в значительной мере разделяют идеологию о республиках как о «доменах легального иноэтнического доминирования», как о «не совсем России».

Общий вопрос, на который стремятся ответить исследователи, — почему происходят насильственные конфликты (более конкретно,

почему они возникают именно на этих определенных территориях и именно в это время). Магистральное различие объективистских и деятельностных подходов в изучении насильственных конфликтов проявляется, по нашему мнению, в направлении самого анализа. Одна из альтернативных парадигм сфокусирована на обнаружении «объективных факторов», «структурных параметров», как бы извне подталкивающих этнические группы к конфронтации и насилию. Другая парадигма обнаруживает, каким образом эти «факторы» срабатывают (или не срабатывают) в реальных политических стратегиях участников, в принимаемых ими решениях.

Например, в объяснении постсоветских конфликтов коллизия различных подходов может выглядеть следующим образом. Объективистский тезис: этнические конфликты на территории бывшего СССР существовали в «подавленном», «свернутом» состоянии на протяжении всего «авторитарного» (вариация — «тоталитарного») периода. Либерализация и демократизация конца 1980-х годов удалила этот авторитарный пресс, вслед за чем произошла стремительная кристаллизация этнических конфликтов в тех точках, где они в подавленном состоянии уже наличествовали. Примордиалистский элемент в этих рассуждениях состоит в том, что в «уже наличествующем» состоянии «подавленного конфликта» появляется некоторое качество извечно существующих, глубоко укорененных солидарностей и фобий. Другими словами, эксцессы этнического насилия не могли не произойти, они были «объективно predetermined» наличествующими характеристиками, к которым, в частности, относятся «исторически укорененные коллективные фобии», «чувство групповой униженности», «экономическое неравенство» и т. д.

Деятельностный, конструктивистский тезис: этнические конфликты на территории бывшего СССР произошли только в некоторых точках, причем насилие было развернуто там, где присутствовал вполне определенный деятельностный, субъектный фактор, а именно — конкретные политические стратегии элит. Иными словами, одна парадигма стремится описать более «исторически жесткие», «системные предпосылки» конфликтной эскалации, другая — более «исторически оперативные», институционально-разворачивающиеся стратегии, которые увеличивают вероятность этой самой эскалации. Разворачивание конфликта в насильственную фазу может осуществляться разными «форсирующими» насилие коллективными агентами.

Очевидно, что существуют как различные типы самого насилия, так и различные типы перехода или эскалации насилия в «этническом конфликте». По крайней мере, можно вычлениить:

(а) эскалацию длительно складывающегося межэтнического напряжения в погромы, квазиорганизованную, неинституциональную,

спорадическую жестокость; эти процессы можно назвать переходом «снизу вверх»;

(б) эскалацию организованной активности соответствующих институций или военизированных групп, сформированных по этническому признаку; в этом случае кристаллизация насилия происходит «сверху вниз», от политически организованного действия на уровень массовых неформальных, неинституциональных практик.

Почему одна и та же военно-политическая акция (например, ввод войск) может иметь диаметрально противоположные результаты — от подавления насилия к его развертыванию? Представляется, что значительно более важными переменными, которые здесь — на этапе уже начавшегося ввода войск — присутствуют, являются:

(а) то, как воспринимается ввод войск в зону конфликта (со всеми привходящими и влияющими на такое *определение акции* факторами — от сложившихся фобий до конкретного поведения (в том числе — символического) этих войск;

(б) то, кем и каким образом осуществляется такое определение — то есть каким образом структурирован, организован субъект этих определений. Проще говоря, наличествует или нет «инфраструктура сопротивления» подобному вводу войск.

Здесь мы должны рассмотреть специфику релятивистского подхода к эскалации этнических конфликтов. Этот подход не ограничивается констатацией различных типов перерастания конфликта в насильственную фазу: от действий толпы погромщиков до политически авантюрной операции МВД или военизированных отрядов радикальных политических партий. Релятивистский подход рассматривает те *определения ситуации*, которые лежат в основе складывавшихся насильственных стратегий. Каким образом возникает «ситуация коллективной угрозы» для каждой из сторон, как это ощущение угрозы трансформируется в конкретные действия, какие сложившиеся ранее образцы поведения используются, кто является выразителем общего чувства опасности и на основании каких мотивов, какие средства групповой поддержки при этом используются и как осуществляется коллективная мобилизация, в какой момент и в каких формах насилие превращается в самостоятельный конфликтогенный фактор — при анализе любой конкретной ситуации важно ответить именно на эти вопросы, а не заменять такое исследование идентификацией якобы «ключевого фактора» (который может и не действовать в актуальных переходах к насилию).

Необходимо сосредоточиться на анализе того, как определяется ситуация каждой из вовлеченных сторон, как интерпретируются действия «другой стороны» во временной перспективе. Политическое время течет не монотонно, оно спрессовано в определенных отрезках

или, наоборот, разряжено из-за отсутствия значимых событий. События-действия форсируются, когда необходимо и когда есть ситуативная возможность для того, чтобы:

- превратить проекцию (ожидаемое коллективное положение в будущем) в статус-кво («занять территорию явочным порядком», провозгласить суверенитет и развернуть признаки его наличия — блокпосты на «границах автономии»);

- помешать институционализации этой проекции (например, воспрепятствовать проведению референдума или сразу нейтрализовать его итоги, пока они еще значимы для существенной части населения).

Важно, что оба типа действий осуществляются в пределах определенного «значимого времени». Эти пределы, когда этническим элитам нужно попытаться определить ситуацию не только в проективно-гипотетическом смысле, а практически, задаются различными обстоятельствами. Например, «фактический контроль необходимо восстановить до даты проведения незаконных выборов», или «до момента, когда будет принят тот или иной законодательный акт», или «в пределах времени, когда данное действие воспринимается в связи с предыдущим действием другой стороны — и поэтому рассматривается как спровоцированный и оправданный ответ на него».

Некоторые исследователи пытаются объяснить развертывание конфликта действиями небольших группировок фанатиков [16]. Однако наличие или отсутствие таких группировок само нуждается в объяснении. Почему в одном случае фанатики оказываются маргиналами в среде своих «соплеменников», рискующими встретить моментальный отпор со стороны их абсолютного большинства, а в другом случае они — эти фанатики — оказываются «эталоном», «героями», действующими в контексте «недеятельной», но явственной солидарности и поддержки? Каким образом формируется «неадекватно реагирующая аудитория» для иницилирующих акций фанатиков?

Эти вопросы сегодня особенно актуальны при анализе причин и социальных эффектов терроризма (как одной из форм этнически сопряженного насилия). Оставляя эту тему для отдельного исследования, отметим важную роль СМИ в качестве инструмента, создающего абсолютно новую взаимную конфигурацию «интерпретативных стратегий» и агентов, вовлеченных в конфликт. Образно говоря, СМИ способны придать событиям локального уровня эффект символических «макрособытий»: отсюда становится возможным единичной акцией, «прочитанной непропорциональным количеством моментально вовлеченных агентов», в корне изменить ход событий на институционально-политическом уровне.

Важно, что без анализа «интерпретативных стратегий» и того, как именно воспринимается событийная фактура вовлеченными сторонами — их взаимные угрозы/риски и маневры по обеспечению

безопасности, весьма затруднительно определить «время X», когда конфликт перейдет в насильственную фазу. Исследование «объективных» предпосылок конфликта позволяет описать только вероятностный контекст этого возможного перехода. Изучение же самих интерпретаций и их влиятельных субъектов показывает, каковы модели перехода, как он будет развернут в актуальных политических стратегиях. Чем более тщательной и детальной оказывается описание такого вероятностного контекста, тем более мы приближаемся к точности конфликтологического прогноза.

Рассмотрим возможности такого прогнозирования на материале кавказских конфликтов. Здесь также очевидным будет концептуальное противостояние двух основных подходов. Примордиалистский подход в данном случае ярко представлен региональными приложениями таких различных концепций, как теория этногенеза Л.Н. Гумилева (конфликтуют «некомплементарные» народы, находящиеся на различных фазах этногенетического развития и обладающие разным уровнем пассионарности), теория «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона (сталкиваются народы христианские и мусульманские)⁹, а также формационно-модернизационная теория (конфликты обусловлены отставанием некоторых локальных этнических обществ в развитии социальной структуры).

Конструктивистская (и шире, модернистская) парадигма представлена тезисом о продуцировании конфликтов соответствующими стратегиями этнических элит, сконструированных во многом самим российским/советским государством. Конфликтная ситуация описывается зачастую в стиле «массовой иллюзии», создаваемой, например, лидерами сепаратистов в среде собственного народа (если сепаратистская претензия обращена к демократической государственности и гражданской прото-нации, от имени которой говорит конструктивист). Или, наоборот, как результат неадекватной, дискриминационной политики властей в отношении этнического меньшинства, если эти власти идеологически чужды конструктивисту.

Этносоциологический подход, стремящийся «обосновать» (то есть объяснить) те или иные стратегии элит через рассмотрение истории межэтнических отношений и сложившихся в них культурных паттернов, занимает «умеренно примордиалистские» позиции. Это связано с тем вниманием, которое уделяется (в частности при исследовании межэтнического насилия) анализу «реальных» национальных историй, сложившихся культурных дистанций и стереотипов.

⁹ Фактически тождественна этой теории концептуальная база кавказоведческой школы А. Беннисена, которая педалирует «исламский» характер «кавказского барьера».

Особенность релятивистского подхода состоит в акценте на исследовании интерпретативных стратегий — того, как они разрабатываются различными агентами (в том числе — элитарными) и осуществляются в различном социально-политическом или историческом контексте.

При изучении конфликтов нас интересуют факторы, ведущие к насилию как массовой и институционализированной стратегии в достижении взаимоисключающих целей. Для простоты представим схему развития конфликта следующим образом:

1. Возникновение конфликтной *ситуации* (локализация конфликта, «основного противоречия» и «сторон противоречия»).

2. Развитие конфликтной ситуации в позиционном, то есть латентно-конфликтном, взаимодействии (можно назвать этот процесс «конфликтным структурированием сторон»). Здесь определяется *готовность* сторон прибегнуть к насильственным стратегиям в конфликтном взаимодействии, сформированная определениями «рисков», «угроз», обменом символическими политическими событиями.

3. Эскалация насильственных *действий*; соответствующая стратегия поведения в отношении «другой стороны» воспринимается как (а) легитимная и (б) обязательная по времени осуществления.

Отметим два методологических момента. Во-первых, при описании вероятной динамики конфликта и эскалации насилия отправной точкой релятивистского подхода является то, что на любом этапе конфликта (от ситуации-матрицы к позиционированию и далее вероятному насилию или компромиссу) присутствует элемент «определения другой стороны», ее ресурсов, символических действий, маневров и т. д. Поэтому необходимо выявить, что такое «титულიность» для разных социальных групп, как они вспоминают свою историю, что означает для них гражданство данной страны, как на уровне повседневности понимается культурная дистанция и т. п. Смысловая реальность наполняется массовыми определениями, которые вовсе не сводятся к пассивному восприятию элитарных идеологов и мобилизационных указаний.

Во-вторых, анализ развития конфликта можно осуществить через последовательное описание факторов как *накопление вероятности* того или иного сценария в развитии событий. Одним из таких сценариев является эскалация насилия. Вероятность определенного сценария можно операционализировать через определение массива факторов, способствующих или препятствующих конкретному пути развития событий. Что самое важное — массив факторов не может сводиться к какой-либо одной переменной, даже такой существенной, как «вовлечение внешнего отечества» в конфликт между национализирующимся государством и этническим меньшинством. Вернемся к нашей схеме. Более детально она выглядит следующим образом.

1. Определение конфликтной ситуации. Оно связано с очерчиванием территории, которая *воспринимается* как «домен исключительного этнического доминирования» различными группами. Исключительность может основываться на разных критериях — титульности, автохтонности, численном преобладании. Территориальный сюжет присутствует в осетино-ингушском, осетино-грузинском конфликтах, в кабардино-балкарской, лезгино-азербайджанской, казаче-горских конфликтных ситуациях (Кизляр, Наурский и Шелковской районы) и т. д. Все территории, на которых происходила смена или отмена «титульности» *проживающих* здесь групп, представляют собой площадку для формирования конфликтной ситуации. Но титульность не единственный «критерий» для номинирования групп-в-конфликте. Этнические группы, выступающие в конфликтной ситуации, очерчиваются вокруг оппозиции «титульные—нетитульные», «коренные—пришлые», «большинство—меньшинство». Ясно также, что реальная территория как предмет конфликта может быть замещена «символическим пространством», сопряженным с привычным образом жизни или с комплексами престижных социальных позиций. Определенность «сторон» может иметь исторически устойчивый характер или же, напротив, возникать как результат событий новейшего времени. Исторически устойчивая определенность связана обычно с привычными идентификациями этнических групп и, как показывает конструктивистская традиция на примере России—СССР, усилиями государственных институтов по классификациям и территориализации этничности. На Северном Кавказе идентификация сторон потенциальных или актуальных конфликтов формируется по нескольким линиям: титульные—нетитульные, коренные / автохтонные—некоренные, старожилы—мигранты и, наконец, репрессированные и нерепрессированные группы.

Соперничество за коллективный статус остается номинальным, пока конфликтная матрица не наполнена «энергетикой» социальных проблем, связанных с жильем, работой, образованием и безопасным будущим для детей. Другими словами, конфликтный динамизм придается номинальному статусному соперничеству через исчерпание или дефицит каналов вертикальной социальной мобильности. Исподволь зреющие или катастрофически возникшие социальные проблемы можно назвать «смысловым динамическим наполнителем» конфликтной матрицы. В то же время определенная жесткая версия «этнического баланса» в течение некоторого времени нейтрализует конфликтные стратегии. Стабильные 1960–1970-е годы характеризовались устойчивостью определенного паттерна отношений (например, неформального распределения статусных позиций между представителями групп или привычного этнического доминирования в структуре многосоставного населения). Устойчивость наличного паттерна

определяется уровнем лояльности в отношении его институционально-правовых или идеологических оснований.

Статусная конфликтная матрица создает спрос на определенную идеологическую деятельность — производство национальных историй, «открытия» и интерпретации архивных данных, оживление «коллективных травм», таких, как память о Кавказской войне, депортации и т. д. Здесь также очерчиваются возможные образцы «разрешения противоречий» — фактически модели эволюции конфликта (к насилию или ненасильственной реконфигурации сторон в конфликтной ситуации).

Уже на этапе определения конфликтной ситуации наличествуют три аспекта: (а) исторически сформировавшаяся конфликтная матрица, (б) идеологическая активность культурно-идеологической элиты и (в) фактура социальных проблем, продуцирующая планы на будущее и связанные с ними риски.

2. Конфликтное структурирование сторон характеризуют следующие черты:

- Распространение *этнической напряженности* и этнического насилия низкой интенсивности на «бытовом уровне» (здесь уже возможен явный или неявный повседневный моральный террор и даже отдельные эксцессы погромного типа); такое насилие можно назвать неинституциональным, диффузным, спорадическим. Его отличительная черта — складывающаяся рутинность и привычное знакомство с репертуаром насилия.

- Кристаллизация *неформальных групп*, занимающихся запугиванием (но пока не специализирующихся на нем) — соседей, например; возникновение паттернов массовых действий (митинги протеста, шествия и т. д.).

- Институционализация идеологической *деятельности в СМИ* (часто смысловой функцией этой деятельности оказывается нейтрализация здравого смысла, самой человечности «контр-народа», проективная легитимация насилия в отношении его представителей). Практическое насилие сначала проходит свою легитимацию-обкатку в виде насилия символического. Здесь происходит «канонизация» альтернативных, конфликтующих проекций коллективного будущего (актуализация или изобретение идеологий, мифов, образа врага и его «коллективных устремлений»). Другая группа, «контр-народ», и его устремления трактуются как реально нависшая угроза, требующая срочных мер противодействия.

- *Институционализация «структур безопасности»* сторон в виде процессов этнизации власти, правоохранительных органов — уже не в смысле кадрового состава, а избирательности в работе, *возникновении дискриминационных паттернов в осуществлении легитимного насилия.*

- Наконец, *позиционирование элит и внутри элит*, которые определяются как представители сторон-в-конflikте. Позиционирование осуществляется в отношении спектра избираемых и допустимых целей и средств их достижения в конфликте.

3. Эскалация насильственного конфликта как выбор определенной модели действия и его времени.

При определении «времени событий» важно выяснить характер того «таймера», который возникает в интерпретативных стратегиях организованных групповых акторов. При этом учитывается возможность воспользоваться ресурсами насильственного действия в определенное время; огромную роль играет восприятие временной составляющей угроз, предъявляемых другой стороной и представление о необходимости действий в пределах определенного времени. Например, до принятия некоего законодательного акта требуется изменить расстановку сил (получить фактический контроль над территорией), добиться нужного этнодемографического баланса ко времени проведения условного референдума, «дать внятный ответ» на какое-либо символическое действие другой стороны в пределах условного времени так, чтобы свое действие воспринималось как оправданный, то есть «легитимный», ответ и т. д. Существуют различные типы таймеров. Это может быть модель «внешних часов», когда эскалация насилия осуществляется в пределах условного временного отрезка, определенного внешней инстанцией (например, до объявления федерального моратория на территориальные изменения). Или модель «своевременного ответа» на принятие антиконституционного акта местными властями в регионе сепаратистской угрозы. Возможна модель «упреждающего действия» или, наконец, модель «своевременного реагирования» на такие события-триггеры, как уголовные преступления, вызывающие большой общественный резонанс. «Своевременность» в данном случае определяется смысловой связью с предшествующим событием.

При мониторинговом исследовании конфликта каждый из этих элементов может быть идентифицирован эмпирически. Еще раз повторим, что выявление конфликтогенных факторов позволяет говорить лишь о вероятности того или иного сценария. Структура современных СМИ, возможный информационный прорыв локальных эпизодов или событий на уровень общенациональных макропроблем, появление рисков детонационной эскалации насилия в ответ на случайный инцидент — все это делает конфликтологический прогноз лишь *топографией вероятных конфликтных ситуаций*.

Очевидно, любой социальный прогноз, даже если это прогноз *ex post factum*, имеет вероятностную природу. Попробуем определить и отчасти операционализировать вероятностную динамику конфликта через «накопление веса факторов насилия в конфликте» на шести

кавказских сюжетах (табл. 2). Речь идет о ситуациях, сложившихся в период распада СССР в северокавказских республиках. Во всех шести случаях имела место явно выраженная этническая напряженность, причем в двух случаях эта напряженность вылилась в насильственные действия, а в четырех — насилия удалось избежать. В данном случае мы оставляем в стороне конфликтную ситуацию в Чечне, поскольку детерминация чеченского кризиса выходит далеко за пределы локально действующих факторов.

Таблица 2

Сравнительный вес факторов возникновения насильственных конфликтов в 1990–1992 гг. в Северо-Кавказском регионе

Переменные (факторы)	Конфликтные ситуации					
	Ф1	Ф2	Ф3	Ф4	Ф5	Ф6
Конфликтная матрица (определение конфликтной ситуации)						
Локализация	Л1	Л2	Л3	Л4	Л5	Л6
Оспариваемый коллективный приоритет на одной территории (титულიность или статусное неравенство)	да (++)	да (++)	да/нет (+) ¹⁰	да/нет (+)	да/нет (+)	да/нет (+)
«Центральный характер» оспариваемых территорий ¹¹	++	+	++	+	++	+
Принудительная смена статуса (титულიности) в прошлом	да (+)	нет (0)	нет (0) ¹²	нет (0)	нет (0)	нет (0)
Конфликт критериев легитимности коллективного доминирования (титულიность-автохтонность-большинство)	+	+	+	+	+	+
Диспаритет в общих органах власти ¹³	+	0	-	- -	+	+
Фактическое неравенство (экономическая стратификация) ¹⁴	+	-	н/д ¹⁵	н/д	н/д	+
Наличие смешанных сел и «тип смешения» ¹⁶	Да (++)	Да (+)	(0) ¹⁷	Да (+)	(0) ¹⁸	Да (+)

¹⁰ Титულიность оспаривается на части территории и не оспаривается для «собственно Балкарии» и «собственно Кабарды», то есть «этнических» территорий КБР за вычетом спорной полосы.

¹¹ Значение данной переменной определено в зависимости от того, является ли она «фокусом миграционного притяжения для обеих групп» (++) или одной из групп (+).

¹² Титულიный статус балкарцев на территории КБР восстановлен в 1957 г. (то же — для карачаевцев по КЧР).

¹³ В КБР и Дагестане этнический баланс поддерживается институционально: кво-тирование закреплено правовыми и неформальными нормами. Однако в КБР — этот баланс с явным этническим доминированием, а в Дагестане — без такового.

¹⁴ «Фактическое неравенство» определяется как (++) , если обе группы солидарны в своих оценках ситуации «богаче — беднее»; определяется как (+) , если они противоречиво оценивают ситуацию неравенства и (-) , если солидарны в своих оценках отсутствия ситуации неравенства.

¹⁵ н/д — нет данных (здесь и далее в таблице).

¹⁶ Принудительное смешение (вынужденная миграция одной из групп и т. д.) определено как проконфликтный фактор (++) , спонтанное смешение (как ней-

Объединяющая обе группы «общая угроза» ¹⁹	0	0	0	-	0	0
Культурная дистанция (доля смешанных браков) ²⁰	+	- (30-35%)	+	0	+	+
Конфессиональное различие	(0)	-	-	-	-	+
Наличие «коллективной травмы», ассоциируемой с контрагентом в ситуации ²¹	++	+	0	0	0	+
Дефицит позиций/экономические факторы, сельская перенаселенность	++	0	+	++	+	0
Структурирование сторон-в-конфликте или позиционирование в конфликтной ситуации						
Поддержка «внешнего отечества» ²²	++	+	-	-	0	0
Диффузия этнического насилия низкой интенсивности в 1980-е годы	+	-	-	н/д	н/д	н/д
Формирование паттернов коллективного действия в 1987–1989 гг.	++	++	+	+	0	0
Прецеденты успеха коллективного действия ²³	++	++	-	-	-	-
Этнизация структур коллективной безопасности в 1987-1989 гг. ²⁴	++	++	+	++	0	+
Соразмерность ресурсов/баланс сил ²⁵ (численность, сплоченность, доступ к силовым институтам)						

тральный, но содержащий риск столкновений больший, нежели значение «отсутствии смешанных сел»).

¹⁷ Незначительно (исключая Нальчик).

¹⁸ Нет, исключая Черкесск и пригороды.

¹⁹ Наличие такой проблемы — фактор, препятствующий эскалации конфликта (-), отсутствие — (0).

²⁰ Доля смешанных браков в виде индикатора культурной дистанции представлена следующим образом: 0-5% (значительная, соответствует весу +), 5-25% (средняя, соответствует весу 0), более 25% (малая, соответствует весу -).

²¹ Вес «коллективной травмы» определен в ++ (если она связана с ныне живущими поколениями) и + (если нет).

²² Здесь точнее было бы определить переменную как «наличие внешнего провоцирующего актора, поддерживающего одну из сторон против другой до начала эскалации конфликта».

²³ Индикатор — принятие каких-либо законодательных актов под давлением такого средства, как коллективные акции (митинги, шествия, пикетирования и т. д.).

²⁴ Знак (++) соответствует значению «выраженная этнизация», то есть наличию фактически мононациональных милиций и военизированных групп, знак (+) соответствует наличию только этнически непропорционального представительства в милиции, но отсутствию противостоящей ей иноэтнической милиции или военизированных групп.

²⁵ Переменная «соразмерность ресурсов» получила диаметрально противоположные оценки: как проконфликтная и как сдерживающая конфликт. Индикаторы соразмерности: (а) разница в численности не более 20%, (б) близкие оценки по уровню «этнической сплоченности», (в) наличие доступа обеих групп к силовым институтам. Мы склонны считать соразмерность ресурсов фактором, сдерживающим конфликтную эскалацию.

В т. ч. наличие у обеих сторон доступа к оружию	++	++	-	-	-	-
Развертывание фобий в СМИ	++	++	+	0	-	-
Наличие этнических политических организаций к 1989 г. (воспринимаемых другой стороной как угроза)	++	++	++	++	++	++
Наличие общих общественных объединений ²⁶	0	0	-	-	-	0
Официально заявленные взаимоисключающие цели ²⁷	++	++	-	-	-	+
Легитимация взаимоисключающих целей на уровне общегосударственных органов власти	++	++	+	-	+	+
Консолидированность или кризис властных элит к 1990 г. ²⁸	+ ²⁹	++	- КБР в целом	- РД в целом	- КЧР в целом	- КЧР в целом
Определение временных рамок для вероятной эскалации насилия						
Внешние часы ³⁰	+	0	+	-	+	+
Своевременность ответа	0	+				
Триггер-инциденты	+	+				
Обмен провоцирующими символическими актами в 1987-1989 гг.	++	++	+	-	+	+
Итоговый конфликтный вес переменных	40	25 ³¹	5	1	5	14 ³²

²⁶ Добровольные ассоциации, где могут обсуждаться и приниматься решения, неформально обязательные для представителей обеих групп. Наличие таких объединений — фактор, снижающий вероятность конфликта. В данном случае (-) определен только в связи с наличием общих для представителей разных этнических групп духовных управлений мусульман.

²⁷ Оформленные как законодательные акты или декларации органами власти республик (++) или местными органами власти (+).

²⁸ Консолидированность элит определена как отсутствие смены правящей группировки в рамках конфликтной ситуации.

²⁹ Только в Ингушетии (тогда — в Чечено-Ингушетии).

³⁰ Переменная определяется как «наличие момента в развитии конфликтной ситуации, когда достижение какого-либо фактического положения, в том числе с использованием насильственных методов, имело шансы быть затем легитимированным». Проще говоря, «уровень надежд на легитимацию результатов эскалации насилия».

³¹ Причем 19 баллов этот конфликт «накопил» в фазе позиционирования-в-конфликте! Другими словами, конфликт в Южной Осетии скорее импортирован извне самой ситуации осетино-грузинского повседневного мира: он не является «этническим» и развивался по модели «сверху-вниз» — с уровня властных институтов и стратегий на уровень повседневности и рутинных жизненных планов.

³² Последнюю строку таблицы можно прокомментировать следующим образом: если бы в КЧР в 1990–1991 гг. присутствовала «казачья милиция» (по типу приднестровской) в полосе смешанного казаче-карачаевского расселения и если смещение Хубиева с помощью усилий «черкесского блока» удалось бы в этот же период, вероятность насильственной эскалации конфликта подошла бы к критическому уровню, сопоставимому с осетино-ингушским или юго-осетинским случаями.

Примечание: («+») — проконфликтные факторы, то есть увеличивающие вероятность насилия в конфликте, (0) — нейтральные факторы или нет данных, («-») — факторы, снижающие вероятность насилия в конфликте. Незаполненными оставлены строки, в которых значение переменных не определено или определено противоречиво. Все переменные и их значения определены как формализация экспертных оценок. Такая таблица является итогом и, вместе с тем, предложением к дальнейшему исследованию. На это указывают, в частности, затемненные ячейки.

Переменные (факторы): Ф1 — Осетино-Ингушская (РСО-А и РИ); Ф2 — Осетино-Грузинская (РЮО-Грузия); Ф3 — Кабардино-Балкарская (КБР); Ф4 — Кумыкско-Аварская (РД); Ф5 — (условно) Карачаево-Черкесская (КЧР); Ф6 — Карачаево-Казачья (КЧР). Локализация: Л1 — пригород, район Северной Осетии; Л2 — Южная Осетия; Л3 — пояс спорных территорий в КБР / КБР в целом; Л4 — Кумыкская равнина с аварскими анклавами / Дагестан в целом; Л5 — КЧР в целом; Л6 — группа станиц³³ / КЧР в целом.

В последней строке таблицы определен сравнительный показатель вероятности перехода к массовому насилию как одному из возможных сценариев развития конфликта. Еще раз подчеркнем — общая методологическая интенция при определении вероятности событий состоит в исследовании комплекса переменных, каждая из которых подвергается определенной интерпретации акторами, вовлеченными в события. Исследование комплекса переменных позволяет приблизиться к адекватной оценке общего риска эскалации той или иной конфликтной ситуации в насильственный конфликт. Очевидно, что «вес факторов» («груз конфликтных факторов») предъявляет особые требования как к качествам политического лидерства, так и к массовой политической культуре, формирующейся при содействии СМИ. Эти требования заключаются, прежде всего, в усвоении, накоплении опыта рефлексивной политики, связанной с пониманием того, как данная проблема воспринимается и другой стороной, как та или иная формула, высказывание, действие будут восприниматься «по ту сторону барьера». Переход к постконфликтным ситуациям в Северо-Кавказском регионе — в районах повышенной конфликтности — предполагает выработку нового языка, основанного на восстановлении традиций доброжелательности и императиве добрососедских отношений, развития практик сотрудничества в самых разнообразных социальных группах и структурах, признающих приоритет общероссийского законодательства.

Решение, ведущее к эскалации насилия или его предотвращению, всегда связано с функцией лидерства. Конструктивистская парадигма

³³ Пояс станиц Преградная, Сторожевая, Зеленчукская, Кардоникская, Красногорская и Усть-Джегута.

в своем акценте на изучении роли политических и институциональных агентов и, соответственно, на живых стратегиях в конфликте выглядит более убедительной, нежели тяжеловесное проецирование цивилизационных и иных «объективных» качеств на динамику этнических конфликтов. Однако эта парадигма явно оставляет открытым вопрос о том, каким же образом «объективная фактура» конфликтной ситуации присутствует в интерпретациях человека с улицы — интерпретациях, которые, собственно, и выводят его на эти улицы массовых политических действий.

В свою очередь, релятивистская парадигма — при достаточно глубоком ее понимании — устраняет абсолютизм примордиалистски обосновываемых притязаний сторон в конфликтной ситуации; в то же время она ориентируется на признание реалий этнополитического сознания во всем многообразии его вариантов.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Гумилев Л.Н.* Этногенез и биосфера Земли. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1989.
2. *Здравомыслов А.Г.* К обоснованию релятивистской теории нации // Релятивистская теория нации: новый подход к исследованию этнополитической динамики России. М.: Российский независимый институт социальных и национальных проблем, 1998.
3. *Здравомыслов А.Г.* Трансформация смыслов в национальном дискурсе // Язык и этнический конфликт / Под ред. М.Б. Олкотт, И. Семенова. Московский Центр Карнеги. М.: Гендальф, 2001.
4. *Здравомыслов А.Г.* Релятивистская теория наций и рефлексивная политика // Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. М.: Аспект Пресс, 1997.
5. *Кивинен М.* Прогресс и хаос: социологический анализ прошлого и будущего России. СПб.: Академический проект, 2001.
6. Конструирование этничности: этнические общины Санкт-Петербурга. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998.
7. *Крицкий Е.* Краснодарский край: этнодемографическая ситуация // Ежегодный семинар Сети этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов. Голицыно, 1994.
8. *Вердери К.* Куда идут «нация» и «национализмы» // Нации и национализм. М.: Праксис, 2002.
9. *Ожиганов Э.В.* Сумерки России. М.: Русский двор, 1996.
10. *Рыбаков С.* К вопросу о понятии «этнос»: философско-антропологический аспект // Этнографическое обозрение. 1998. № 6.
11. Социальная и культурная дистанция. Опыт многонациональной России / Под ред. Л.М. Дробижевой. М.: Ин-т социологии, 1998.

12. *Тишков В.А.* Что есть Россия? Перспективы нации-строительства // Вопросы философии. 1995. № 2.
13. *Brubaker R.* Aftermath of Empire and immixing peoples: Historical and comparative perspectives // Ethnic and Racial Studies. 1995. Vol. 18. No. 2.
14. *Brubaker R.* National minorities, nationalizing states and external national homelands in the New Europe // Daedalus. 1995. Vol. 124. No. 2.
15. *Brubaker R.* Nationhood and the national question in the Soviet Union and post-Soviet Eurasia: An institutional account // Theory and Society. 1994. Vol. 23.
16. *Posen B.* The security dilemma and ethnic conflict // Survival. 1993. Vol. 35. No. 1.